

**Валерий ВЕРХОГЛЯДОВ**

*г. Петрозаводск*



**Рассказ**

## **О СЕМИ ТОПОРАХ**

**С** топорами у меня отношения сложные.

Ножи — совсем другое дело. Их у меня несколько. Подчас собираюсь в лес и не знаю, какой взять. Иногда беру два — один на поясной ремень, второй в рюкзак — на всякий случай, но «всяких случаев» пока не было, за всю жизнь ни одного ножа не сломал, не потерял.

А вот с топорами — беда. Они живут самостоятельной жизнью и, похоже, меня ни в грош не ставят. Теряются при загадочных обстоятельствах, пропадают на год, а то и на два, потом снова находятся. Такого круговорота то-

поров в природе ни у кого не встречал, рассказываю об этом друзьям — они смеются и не верят.

Вот и сейчас куда-то исчез туристский топорик. Я его купил в спортивном магазине лет тридцать назад, наточил, забил в топорище дополнительный клинышек и взял с собой в Крым, пусть, думаю, тоже полюбуется на Понт Эвксинский, повалится рядом на диких галечных пляжах — будет что на старости вспомнить. За те две недели, которые мы провели вместе, топорик показал себя с лучшей стороны. На привалах он не лентяйничал, дровишки заготавливал исправно и в рюкзаке занимал совсем немного места. В общем, вошел в полное доверие. (Так Ленин когда-то о Шотмане написал, мол, этот товарищ ему «лично известен и заслуживает полного доверия». Нужно ли говорить, что после столь лестной рекомендации Шотман всю оставшуюся жизнь провел на командных должностях, к тому же он удачно умер — еще до партийных чисток, когда «бойцов ленинской гвардии» стали расстреливать пачками.) Вот и я свой топорик после той памятной поездки стал регулярно брать то на охоту, то на рыбалку, то просто «на шашлыки». Вел он себя безукоризненно, без его помощи ни один костер не раз-

жигался. В прошлом году я его оставил зимовать на даче. Весной приезжаю, он тут как тут, бодро блестит и готов к несению службы. Растопили мы с ним баньку, когда она нагрелась, я пошел париться, а топорик положил отдыхать под лавку. Вот тогда-то он и пропал, уже четвертый месяц не вижу.

Зато неожиданно объявился «длинный Томас». Оказалось, что он года три отлеживался в подполе, а как туда попал — никто не знает.

Этот тогда еще безымянный топор я нашел на заброшенном хуторе. Был он зазубренный,

немного поржавевший, со сломанным пополам топоричем. Я сунул находку в мешок и пошел дальше. После этого топор еще долго пролежал у меня в гараже. Как-то он попался на глаза, повертел его в руках — вещь-то стоящая и, похоже, не российскойковки. Отнес его в мастерскую, где знакомый мастер снял наждаком зазубрины, наточил лезвие и отполировал его на войлочном круге.

— Какой обушок широкий, — дивился мастер. — Тесать таким топором, пожалуй, несподручно, зато дрова колоть — приходи кума любоваться.

Так знающий человек определил его судьбу.

Как-то проезжал я через Кутижму и вижу: около моста мужик выставил на продажу черенки для лопат.

Кутижма — вымирающий поселок. Он практически весь застроен щитовыми домами-скороспелками. После войны здесь был лесопункт. Лес со временем вырубил, но людей в другое место не перевезли — это даже в голову никому не пришло. И сейчас не приходит. Молодежи в поселке давно нет, работы тоже нет, и те, кто доживает в этой дикой неприютности свой век, кормятся с «трассы». Продаются в основном ягоды и грибы, редко картошку или огородную зелень.

Черенки у мужика были березовые, выглаженные ручным рубанком, но явно не хуже магазинных.

— А топориче сделать можешь? — спросил я.

— Не вопрос.

Я показал:

— Вот такое.

— Длинновато будет.

— Мне для дров.

— Тогда понятно. Когда обратно едешь?

— Через пару дней.

— Сделаю. Смотри, не обмани — такую оглоблю не продать.

— Не обману, не бойся.

— Я не боюсь. Мы здесь давно отбоялись.

Через два дня я получил искомое топориче, а насаженный тем же вечером топор — свое имя.

Мы с ним на пару нарубили немало дров.

Но однажды в магазине «Ручной инстру-

мент» я увидел некое чудище, в которое влюбился с первого взгляда. Чудище весило три кило и называлось «топор таежный». Сработано это изделие было на каком-то заводе, выпускавшем военную технику, и поэтому вид имело весьма грозный. Топор — не топор, колун — не колун, но любую чурку я им разваливал с одного удара. Как говорил господину Поплавскому незабвенный Коровьев, хрусть — и пополам!

Длинный Томас тотчас обиделся на весь мир и спрятался. Случайно выяснилось, что таился в подполе, ну и ладно, ну и хорошо, но теперь не могу найти своего таежного друга.

Мистика, да и только.

Еще есть у меня топор, которым удобно забивать длинные гвозди. Это я так полагаю, что есть, но на самом деле его давно не видел, с той самой поры, как построил новый туалет.

Как-то приехал к нам в гости родственник, который сейчас живет в Финляндии. Зовут его Вася, по-домашнему Васёк. Вместе со своей женой ингерманландкой он уехал из России в девяносто втором, в то самое время, когда у нас был пик криминальной революции. Через год жена Васю бросила, она нашла себе настоящего финна с домом, обустроенным бытом и хорошим твердым заработком, женщины вообще легче приспосабливаются к изменившимся условиям, это у них природное. От обиды и желания доказать свою мужскую независимость наш незадачливый эмигрант решил в рекордные сроки овладеть чужим языком, а для разговорной практики поступил на курсы, где учили эффективно работать обычной бензопилой. Закончил их на «отлично». Срубил несколько дровяников, сараев и охотничьих избушек, после чего поступил на те же курсы вторично, теперь чтобы отточить мастерство. Через несколько лет Васёк превзошел в ремесле своих учителей и сейчас в окрестностях Тампере считается лучшим строителем банек, что топят по-черному. Иметь такую баньку у финнов — высший шик, так что у русского Васи всегда имеются заказы.

Сидим мы с ним на солнечном взгорочке. Лес, озеро, комары — словом, красота. Потягиваем баночный «Туборг».

— Рассказать анекдот? — спрашивает Васёк.  
 — В общем, такое кино: по узкому тоннелю с гиканьем и топотом мчится веселая толпа сперматозоидов. А за ней поспешает сперматозоид-увалень, он бы и хотел бежать быстрее, но не получается.

Вдруг крик:

— Ребята, мы в презервативе — все назад!

Толпа с гиканьем и топотом бежит в обратном направлении, а тот, который был отстающим, смеется в ладонь и продолжает свой путь.

Голос за кадром: «Вот так и родились хитрые финские парни».

Этот анекдот очень нравится финнам, — говорит Васёк. — Им очень хочется быть ловкими, быстрыми, сметливыми, а на самом деле они неторопливы и обстоятельны. А еще у них обостренное чувство социальной справедливости, которое давно уже стало предметом национальной гордости. Вот у кого нужно учиться строить капитализм. У «фиников» такая система налогообложения, что просто не могут появиться супербогачи, но у них нет и бомжей.

— У нас этот фокус не пройдет — тут же начнут уводить капиталы за рубеж, — говорю я.

— Значит, такие законы, которые позволяют это делать, — парирует Васёк.

— Есть в этом деле недоработки, — соглашаюсь я.

— Хочешь, я назову тебе причину, от которой проистекают все беды в России? — говорит Васёк.

— Ну-ка, ну-ка.

— У вас нет уважения к человеку.

Он так и говорит — «у вас».

— Вот ты мне рассказывал про Кутижму. А сколько таких вымирающих деревень и поселков по стране. Сотни, если не тысячи. В Финляндии подобное в принципе невозможно. Раньше, при коммунистах, человека в России могли по навету или чьей-то прихоти арестовать и отправить на медленную смерть в лагерь. Сколько об этом говорили, сколько писали, одних книг, наверное, целая библиотека. А чем сегодняшние кутижмы отличаются от гулаговских лагерей? Только тем, что охранни-

ков нет. Так и власти здесь тоже нет. Никому не нужны острова в океане равнодушия.

— Ладно, — говорю я, — хватит пикироваться. Пошли лучше баню топить.

Но крыть мне нечем.

На следующий день Васёк показал, как нужно работать бензопилой. Своей «Хускварной» он творил чудеса. Мог из чурбака вырезать табуретку о трех ногах, из бревна побольше — медведя с керосиновой лампой в поднятой лапе.

Вдохновленный живым примером, я после отъезда гостя решил соорудить туалет, прежний, доставшийся по наследству, уже совсем покосился, в него даже заходить было страшно.

Из инструментов принципиально пользовался только бензопилой и небольшим финским топором, который Васёк подарил мне на прощанье.

Туалет вышел на славу. Сбоку к нему я пристроил кладовочку для лопат, грабель, мотыг и прочего садово-огородного инвентаря, который всегда мешал в сарае, на четыре широкие полки поместились все наши тазы, миски и ведра.

— Продуманное сооружение, — похвалил сосед. — Сделано добротнo и компактно. Как в космическом корабле — ничего лишнего.

На второй день после завершения строительства пропал финский топор.

— Ты его, наверное, как Нестор, в озеро забросил, — предположила жена.

— Зачем мне бросать топор, у него роль была подсобная. Уж тогда следовало бы утопить пилу.

В общем, топор так и не нашелся. То ли я ему чем-то не понравился, то ли наша страна.

Тонкий кухонный топор для рубки и отбивания мяса мне подарили на юбилей. Он изящен, как вязь арабского стиха. Покоится на зеленом бархате в футляре из красного дерева. К этому инструменту из другой жизни был приложен старый рецепт, который начинался словами: «Если к вам неожиданно пришли гости, то достаньте из погреба баранью ногу...» Далее описывается процесс превращения этой ноги в сочные отбивные. Поскольку уникальный рецепт мне вряд ли пригодится,

то топор вкупе со своим футляром без дела лежит дома. Жена советует повесить его на стенку, я пока не соглашаюсь, ведь столь легкомысленный шаг неминуемо повлечет за собой переделку всей кухни. Или жена на это и надеется?

Свой любимый плотницкий топор я храню в багажнике машины, поэтому он всегда сопровождает меня в поездках. Что бы ни делал, всегда возвращаю его на штатное место. Это правило незыблемо, как смена времен года, как бег самого времени, как слова канонической молитвы. Топор, который мне выковал Юра Мошников еще в ту пору, когда работал кузнецом на заводе, похож на оружие древних ратников, он сбалансирован, он лаконичен и строг, он – само совершенство и поэтому никогда не будет унижен до заурядной колки дров. У друзей свои привилегии.

И еще об одном памятном топоре не могу не вспомнить. Я держал его в руках всего лишь раз.

После окончания университета нас, выпускников, ставших в одночасье курсантами, отправили на воинские сборы за погонами младших лейтенантов. Ранние подъемы, марши-броски в тяжелых кирзачах, час ухода за оружием, дежурство у тумбочки – будни той давней поры. Командир роты, сам студент-заочник филологического факультета, к нам, гуманитариям, явно благоволил. Он лично проводил политбеседы и занятия по тактике.

У отца-командира была простительная слабость – он любил щегольнуть цитатой на латыни.

– Ave, Caesar, morituri te salutant<sup>1</sup>, – напутствовал он нас, отправляя на рытье окопов.

– Cogito, ergo sum<sup>2</sup>, – говорил он, после чего следовала команда «Противогазы – надеть!».

– O, sancta simplicitas!<sup>3</sup> – морщился он, когда курсант запаздывал с отдаванием чести.

Еще наш капитан любил пересыпать свою речь иностранными словами. Именно от ротного я впервые услышал, что местные жители – это «сиречь аборигены, проще сказать, автохтоны», и что кроме привычных сантиметров и миллиметров есть еще мера длины ангстрем – до сих пор не знаю, что им измеряют.

Незадолго до окончания сборов для нас устроили большие двухдневные учения. Мне, кроме привычного «калаша» и большого количества взрывпакетов, было доверено нести топор – вдруг придется наводить переправу через какую-нибудь болотную хлябь, что в рамках наступательных действий отнюдь не исключалось. Где я его оставил? То ли на одном из привалов, то ли при оборудовании наблюдательного пункта на макушке сопки, то ли когда братались с нашим «противником» – ребятами физмата. Факт остается фактом – при возвращении в казарму топора не было. Еще целую неделю мне при каждом удобном случае напоминали о чудовищном проступке. Пеняли бы и дальше, да сборы закончились.

Все бывшие курсанты стали младшими офицерами, все получили характеристики для предъявления их по месту будущей работы или службы. Мою, вероятно, писал сам командир роты. В ней отмечались политическая грамотность, умение ориентироваться в незнакомой местности, отличные результаты, показанные на стрельбище, и что-то еще столь же необходимое для дальнейшей жизни.

Отметив мои положительные качества, командир все-таки не удержался и добавил в конце документа из сердца рвущиеся слова: «Имеет тенденцию к потере топоров».

После вынесения столь сурового приговора ему, думаю, стало намного легче.

Никто и никогда не воспринимал эту характеристику всерьез. Над ней смеялись, и я тоже смеялся. Сейчас уже не смеюсь, сейчас я думаю, а вдруг это пророчество!

<sup>1</sup> Здравствуй, Цезарь! Идущие умирать тебя приветствуют! (лат.)

<sup>2</sup> Мыслю, следовательно, существую. (лат.)

<sup>3</sup> О, святая простота! (лат.)



**К**огда устаю от самого себя и ничего не хочется делать, даже читать — а это край, — я звоню в большой город, женщине, которая, как говорили в галантном девятнадцатом веке, могла бы составить мое счастье. Она пло-

я придумываю ее — к чему бы это?

И что делать?

Извечный российский вопрос.

Самое дорогое у человека — это жизнь. Так учили нас в школе. У нее тоже была жизнь —

хо знает меня, даже вообще не знает, но уверена в обратном. В общем, она заблуждается, поэтому у нас прекрасные отношения.

Мы очень давно не виделись. Время от времени я связываюсь с ней по телефону. Не часто. Примерно раз в три-четыре года. Мы болтаем о пустяках. Важны не слова, а лишь сам разговор. Он, как маяк, внезапно открывшийся в ночи. Появляется уверенность в собственных силах и возможностях.

Это единственная женщина, которая понимает меня, как некогда понимала мама. С мамой я перестал откровенничать уже в седьмом классе — слишком рано возмнил себя взрослым. С этой женщиной я не откровенничал никогда. Поэтому она могла представлять меня кем угодно. Она и представляла. С первого дня нашего знакомства.

Я был мужчиной, тогда еще молодым, а она девушкой, которой я нравился, и этим все сказано.

Кроме того, в то время я не искал ничьей поддержки.

Лет пятнадцать назад нечаянно осознал, что именно она и есть тот эталон, под который непроизвольно подгоняю всех остальных своих спутниц. Это стало откровением. Подумал, раньше она меня придумывала, а теперь

своя, устоявшаяся и понятная, и, чтобы не было после мучительно больно, совсем не хотелось что-то ломать и давать невыполнимые обещания. Это было бы опрометчиво и неумно. Это был путь разочарований, который тоже привел бы в тупик. Другой литературный герой, биографию которого не изучают в школе, говорил, что дорогой фарфор, если его шваркнуть о кухонную стену, издает очень дешевый звук. За что мне было наказывать эту женщину? Она ничего плохого мне не сделала. А мои проблемы — только мои проблемы и ничьи больше.

Когда же я звонил ей в последний раз?

Кажется, когда еще делил стол и постель с очередной попутчицей. Или к тому времени мы с ней уже расстались? Не важно. Какое сегодня число? То, что вторник, знаю, а число-то какое?

Вспомнилось любимое: «Вначале вы будете считать дни, потом перестанете, а потом увидите, что стоите на улице и курите». Так оно и есть. Дни пролетают с непостижимой быстротой.

Глянул на стену, где висел календарь: ба-тюшки-светы, так сегодня же 19 августа.

Обычно я звоню ей на работу.

Набрал знакомый многозначный номер. Она откликнулась сразу же, после первого гудка.

— Привет, — сказал я.

— Здравствуй.

— С яблочным Спасом тебя. Ты знаешь, что по народному календарю сегодня кончается лето, а завтра начинается осень?

— Намекаешь на мой возраст?

— При чем здесь возраст? У тебя пора третьей молодости. Это у меня на днях еще один зуб выпал.

— Мудрости? — поинтересовалась она.

— Не, эти у меня вообще не выросли. Один из резцов. Организм такой — не любит металла. Как закрою какой-нибудь зуб коронкой, он ее обязательно отторгнет. Естественно, вместе с зубом.

— Курить нужно меньше — вот и будут зубы целы.

— А я давно не курю. Я теперь жую табак. Как

старый морской волк. За день до двух пачек «L&M» пережевываю. Вместе с фильтрами.

— Понятно. А вообще чем занимаешься?

— Да вот, собираюсь патроны снарядить. В третье воскресенье августа, как обычно, открывается охота.

— Кто-то лет двадцать назад обещал меня в лес взять.

— А ты все ждешь?

— Я терпеливая, — сказала она.

— Раз обещал — значит возьму. Будь готова. Я дам сигнал.

— По первому зову.

Кажется, она не шутила. Пора было переводить разговор на какую-нибудь нейтральную тему, вспомнить, к примеру, общих знакомых, но она и сама поняла, что невзначай сказала лишнее, ведь наши взаимоотношения мы никогда не обсуждали. Такой был негласный уговор.

Спросила:

— Ты не знаешь, почему Спас яблочным называется?

— Почему не знаю? Знаю. Вообще-то в этот день положено виноград освящать, но где ж его при нашем климате возьмешь, так, чтобы всем хватило, вот и нашли предки более распространенный эквивалент. Как говорят греки, давно это было — никто не помнит, картошку к тому времени из Америки еще не подвезли, а то был бы у нас Спас картофельным и почитался бы как самый демократичный престольный праздник.

— Картошку в августе не копают, — сказала она. Блеснула дачно-аграрным опытом.

— Так и яблоки сейчас только покупные.

Она засмеялась.

— С тобой невозможно спорить.

... В таком духе мы болтали достаточно долго.

— Ой, — спохватилась она. — Наверное, уже проговорили кучу денег.

— Ничего. На чай с медом и телефон я еще могу заработать.

— Верю. Но все-таки давай заканчивать. Ты не пропадай — звони и помни: я жду сигнал.

Она повесила трубку.

Дела-а-а. Она ждет сигнал. Домашние, что ли, допекли?

После разговора у меня было прекрасное настроение — легкое, беззаботное.

Может, действительно подготовиться к охотничьему сезону?

Достал дедовский сундучок, в котором храню все, что необходимо для снаряжения патронов. Вот порох «Сокол», целая банка, в прошлом году по случаю приобрел, значит, гарантийный срок еще не вышел. Вот дробь — это еще старые запасы. Во времена социализма она задешево продавалась в спортивных и охотничьих магазинах. Дефицитом были крепкие «фирменные» мешочки, поэтому и приходилось брать по три-четыре килограмма, при меньшем весе продавцы сворачивали обычные бумажные кульки, как для семечек.

Я разложил мешочки в ряд, они были приятно тяжелы.

Это — «двойка», это — «тройка». Самые ходовые номера, ими стреляют уток и тетеревов, а по осени и зайца, он вообще на рану слаб. «Четверка» и «пятерка» — для рябчиков. А это — «единица», проще сказать, «кол». «Колом» можно и глухаря свалить, если, конечно, увидишь — очень осторожная птица.

Мерки для дроби, дозатор для пороха, досылник пыжей, обычная закрутка и «звездочка», капсули, картонные гильзы — все это у меня было. Насвистывая любимую арию странствующего рыцаря Дон Кихота, я взялся за дело.

Я не считаю себя страстным охотником, но, как и многие сверстники, к своему увлечению отношусь серьезно. В наше время говорили: если твоя работа мешает хобби — брось ее.

Где-то читал, что после Первой мировой войны на Западе появилось поколение, которое назвали потерянным. Это были люди, которые разочаровались в жизни и существующем порядке, они нарочито сторонились политики, общественных организаций и верили только себе и своим ощущениям. В нашей стране тогда было не до рефлексий и вселенского плача по утраченным ценностям — нравственным, конечно, у нас строили социализм, искореняли «измы», а заодно и всех здравомыслящих — забот было много. Более или менее стали задумываться о происходящем вок-

руг лишь тогда, когда подняли страну после Великой Отечественной. Тут-то и появились шестидесятники.

Им даже поговорить вволю не дали.

На смену этим вольнодумцам пришло наше поколение, но эстафету не приняло — нечего было принимать. Сейчас шестидесятники мнят себя чуть ли не народными героями, а тогда инакомыслие происходило в основном на кухнях.

Наше поколение стало вторым потерянным.

Во что было верить? В четвертый сон Веры Павловны? Так мало ли что могло привидеться экзальтированной дамочке. В Мальчиша-Кибальчиша и сильную Красную армию, в которой буйно расцвела дедовщина, в торжество материализма над эмпириокритицизмом? А в светлое будущее и вековечную мечту всего человечества не верили даже наши духовные вожди.

Комсомол как нечто объединяющее уже изжил себя. Он еще проводил сверку рядов, рапортовал на съездах, надувал щеки — БАМ, но магистраль строили солдаты и заключенные, БАМ частушечно рифмовался со словом «срам». За стройкой века пришла пора новых починов: «Нечерноземье — твоя целина», «Целина — за околицей», тут и Брежнев со своей «Целиной» — не страна, а сплошное непаханое поле.

А еще вот это: «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок».

О, Господи! За кого же нас тогда держали?

Нет, комсомол не мог нас объединить.

Нас соединяли «Желтая субмарина», КВНЫ, книги, которые давались «на ночь», походы — пешком, на велосипедах, на дребезжащих загородных автобусах. «Дядя, на 62-м километре остановишь?» — «А там что?» — «А там поляна, и на ней запольхает костер». И будет каша в котелке, стакан «сухаря», подружка, на плечи которой (для тепла?) брошена твоя прожженная во многих местах штормовка, и песни Окуджавы до утренней зари. Что еще? Еще эротичные видения поэта: «...На ромашках роса, как в буддистских пиалах, как она хороша в длинных мочках

фиалок, в каждой капельке-мочке, отражаясь, мигая, ты дрожишь, как Дюймовочка, только кверху ногами». И что? Да ничего. Взялись по-пионерски за руки — ладонь в ладонь — и пошли гулять колдобистым проселком, а там уже вечное: «...ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит».

С возрастом к этим увлечениям добавились фотография и любительские фильмы, богаче стали магнитофонные записи, обширней библиотека, на смену походам выходного дня пришли рыбалка и охота, «сухарь» заменила водка, и при всем том — никакой политики, хотя кто ж не читал «Архипелаг ГУЛАГ» или «Колымские рассказы» — таких не знаю.

Думаю, что никакое другое поколение не ввязалось бы с таким энтузиазмом в перестройку-перекройку, как наше, хотя бы потому, что мы в большинстве своем не были прагматиками и в завесе словесной шелухи не смогли рассмотреть и понять главное, корневое — кому же, собственно, будет принадлежать страна и все ее богатства.

Следующее поколение оказалось более приспособленным к жизни в новых координатах духовных и моральных ценностей.

А мы? Что мы? Мы, как говорится, во всем этом участвовали. Главное — не рекорд, не достижение, главное — участие. Это нам вдалбливали с детства. Многие счастливицы поверили, вы узнаете их на улицах по широким беспричинным улыбкам.

Ловких манипуляторов часто называют «наперсточниками», но когда манипулируют поколениями — это уже политика.

Впрочем, я не считаю, что все, вплоть до мелочей, кем-то специально задумывалось — в России такое невозможно, обычно — как кривая вывезет. Ее лишь время от времени подправляли в нужном направлении.

...Я привычно вставлял в гильзы капсули, засыпал порох, досылал пыжи, закладывал дробь и вспоминал свои прежние охоты. Разные они были. По большей части удачные. Я вообще по жизни счастливчик. Мне даже довелось однажды поохотиться с собакой. Собака была не моя. Собака была соседа, жившего этажом ниже, звали его Миша.

Миша был музыкантом, он играл в симфоническом оркестре на кларнете. Как вспомню его, так в голове, в области мозжечка, начинает звучать «Пастух на скале». У Миши была жена и две дочери, но поговорить ему было не с кем, и он завел собаку, породистую охотничью лайку, которую назвал Чарой. Может, он предполагал, что когда-нибудь приобретет и ружье, однако, как мне точно известно, до этого дело не дошло. Каждое утро и каждый вечер он гулял с Чарой по двору, втолковывал ей, что можно и чего нельзя делать собаке, а потом подробно объяснял, как нужно исполнять ту или иную музыкальную пьесу. В конце концов он воспитал очень интеллигентную и необыкновенно деликатную сучку.

Музыкантам платили мало, дочери постоянно вводили Мишу в непредвиденные расходы, и он, когда Чара подросла, устроился в театр ночным сторожем. Дежурства проходили однообразно: Миша приходил в театр, закрывал двери и ложился спать, а Чара бегала по всему зданию и ревностно несла караульную службу, она же утром стаскивала со своего хозяина куртку, которой он укрывался, то есть дополнительно работала будильником.

Ко мне Чара при встречах ластилась, виляла хвостом и умильно-преданно заглядывала в глаза. Миша даже немного ревновал, но что он мог поделать, если от его одежды пахло репетиционным залом, а от моей лесом и волей.

Как-то в сентябре я собрался под Виллагору пострелять рябчиков. Ранним утром, часов в шесть, в полной охотничьей амуниции вышел из дома и встретил Мишу, выгуливавшего собаку. Чара от восторга чуть не описалась.

— Кошмар, — сказал Миша, — тихий ужас. Ты посмотри, что с ней делается, совсем стыд потеряла. Может, возьмишь ее на охоту, пусть даст волю инстинктам.

— Как же я возьму — у меня мотоцикл без коляски.

— Сейчас что-нибудь придумаем, — сказал Миша.

Он принес из дома вещевой мешок, закрыл его дно крышкой от посылочного ящика, на эту утлую площадку усадил собаку и завязал тесьму горловины. Голова Чары осталась снаружи.



— Вот, — сказал Миша, — теперь не выскочит. Это ты возьмешь за плечи, а свой рюкзак перевесишь на грудь.

В пути Чара вела себя спокойно, лишь время от времени царапала мне лапами спину и жарко дышала в ухо.

Когда приехали на место, я сказал собаке, чтобы она далеко не убежала, и выпустил на свободу.

Чара глубоко вдохнула тревожащие, таинственные, такие чудесные запахи леса и вопросительно посмотрела на меня.

— Давай-давай, — подбодрил я, — сделай пару кружков, выпусти пар. Вперед!

С восторженным причитанием «ай-яй-яй» Чара бросилась по тропе. Я собрал ружье, перепоясался патронташем и призывно свистнул. Чара с шумом выломилась из чащи.

Похвалил ее:

— Молодец. Но теперь веди себя тихо. Мы пойдем в один замечательный распадок, и я покажу тебе, что такое настоящая охота.

Показать не удалось.

Чара бежала метров на тридцать впереди меня и с упоением облаивала всех пернатых — пишух, москочков, соек, дятлов... Мне оставалось только любоваться природой и укорять себя за опрометчивость. Часа через три мы вернулись к мотоциклу. Я попил чаю из термоса, а Чаре дал большой бутерброд с докторской колбасой.

— Все, — сказал. — Поехали домой. Занимай стартовую площадку.

Чара и ухом не повела.

Я стал усаживать ее в мешок силой.

Чара угрожающе зарычала и показала белые влажные зубы.

— Ты что? Охренела? У нас другого варианта нет.

Попытался схватить ее за мускулистый загривок. Чара ловко увернулась и куснула мою руку — слегка, предупреждая.

Стало ясно, что мы не договоримся. Но не мог же я оставить собаку на воле, кто знает, куда она убежит, — ищи потом.

Я успокоил Чару, немного поговорил с ней — она слушала, чуть склонив голову набок, потом достал из инструментального отделе-

ния мотоцикла запасной тросик газа, положил у корней березки еще один бутерброд, пока Чара ела, продел этот тросик в кольцо ошейника и привязал к дереву.

— Жди, — сказал. — Скоро вернусь.

Оседлал мотоцикл и махнул в город. Чара осталась плясать вокруг березы.

В городе я нашел своего друга Сережу Камнепадова, объяснил ситуацию, и мы на Серегиной машине поехали за собакой. Всю обратную дорогу она обиженно вздыхала на заднем сиденье.

— Как охота? — спросил Миша, когда мы вернулись домой.

— Спроси у Чары.

— Удалось кого-нибудь подстрелить?

— На охоте это не главное. Главное — процесс.

С той поры ласковая Чара стала относиться ко мне с некоторой настороженностью, а Миша уже больше никогда не просил взять ее на охоту.

...Я снарядил две дюжины патронов, напоследок прогнал каждый из них через калибровочное кольцо — в таком деле как охота нет и не может быть мелочей. Потом пошел на кухню и наконец-то закурил.

Вспомнил телефонный разговор.

Каждый человек в какой-то момент начинает ощущать свой возраст и не может с этим смириться. Подумаешь, зрение немного ослабло, кожа потеряла упругость, желудок работает не так, как раньше, но в мыслях-то я все тот же. Увы, не тот. Мужчины начинают это понимать раньше женщин. Может, потому, что не пользуются косметикой и не маскируют свою внешность?

В телефонном разговоре обнажилось главное — ей захотелось разом все поменять, вернуться в пору молодости. Но ведь это же самообман, ничего общего, кроме тех давних воспоминаний, у нас нет.

Как все-таки жаль по своей воле прощаться с юностью. Но не будет у нас совместной охоты, не прозвучит сигнал.

